

ших однородцев и наше духовенство, пока нельзя будет высказывать правду про Остзейский край, не прослывши якобинцем и в то же время шпионом, пока всякого заезжего лифляндца будут принимать как мученика, каким-то чудом ускользнувшего из-под колеса от ярости палачей и черни, пока русский генерал-губернатор, кощунствуя над духовенством и выдавая православие на поругание немцам, будет иметь право утверждать, что этим нисколько не поколеблется его популярность в России и пророчить с неслыханным самохвальством голодную смерть всякому, кто с ним не уживается; до тех пор что́ бы ни делало правительство, улучшения нельзя ожидать. А коренное преобразование, повторяю в последний раз, с каждым днем становится необходимее. Я желаю его от всей души не потому только, что продолжительное торжество лжи, обмана и злоупотреблений убивает всякую веру в правительство, не ради одних только русских, более пятидесяти лет страдающих за свою народность, но ради будущей судьбы самих остзейцев, которая вся заключена в России. Все простит им Россия, и старые и новые грехи; но для этого нужно, чтоб они покаялись и не выставляли грехов своих как заслуги; нужно чтобы изменились и их и наши понятия, дабы не возгорелась когда-нибудь та великая буря, о которой пророчил умирающий Ломоносов.

**Всеподданнейшее письмо
к императору Александру Николаевичу**

Всемилолюбивейший Государь!

В половине истекшего ноября московский генерал-губернатор прочел мне бумагу, повергшую меня в горестное изумление.

В ней было все: обвинение, приговор и угроза. Я просил с нее копии, но оказалось, что генерал-губернатор не был вправе мне ее выдать; просил позволения, по крайней мере, тут же в

его присутствии записать на память главные статьи обвинения, но и это было запрещено. Наконец, я просил позволения представить мое оправдание, и генерал-губернатор согласился передать мою просьбу по принадлежности, но она осталась без ответа. Таким образом, я лишен был возможности предъявить мою защиту не только до произнесения приговора, но и после того, как он пал на меня, лишен был даже возможности вчитаться и вникнуть в обвинение.

Исключительность такого положения и явное недоверие, мне оказанное, внушили мне мысль повергнуть мое оправдание непосредственно к стопам Вашего Императорского Величества.

Всемиловейший Государь! Простите великодушно смелость верноподданного, исходящую из несокрушимой веры в Высочайшее правосудие.

Первое обвинение, на меня падающее состоит в том, что я, не довольствуясь способами обнародования своих мыслей, открытыми всем в пределах Империи, начал издание мое за границу и, таким образом, нашел средство «обойти закон».

Да позволено мне будет сказать, что, имея полную возможность, спрятавшись за вымышленным именем, избежать всякой ответственности, я выставил свое полное имя на всех изданиях моих и вернулся в Россию накануне их выпуска в Берлине и Праге. Я действовал, по мнению некоторых, неосторожно, но, во всяком случае, открыто. Решите, Всемиловейший Государь, заслужил ли я упрека в изыскании окольных путей и обходов?

Легко бы было доказать нередкими примерами, что один факт издания книги за границу, сам по себе и независимо от ее содержания, доселе не был вменяем в вину; но такая защита могла бы показаться отговоркою, а я считаю себя правым не только в моих действиях, но и в моих побуждениях, и потому приступаю прямо к откровенному объяснению причин, заставивших меня обратиться к заграничной печати.

Не потому не воспользовался я способами обнародования, дозволенными в Империи, чтобы находил их слишком

тесными для выражения моей мысли, а потому, напротив, что, по свойству вопросов, мною затронутых, я счел полезным на сей раз отказаться от тех законных гарантий, которыми само правительство, оберегая права и выгоды издателей, ограничило свободу своих распоряжений. По объему двух выпусков «Окраин России», книги эти, на основании § 1 п. 2 Высочайшего указа 6 апреля 1865 года, не подлежали предварительной цензуре. Я имел бы полное право напечатать их в России, не испрашивая на то никакого разрешения. Знаю, что, на основании § 14 Положения о печати, правительство могло бы, конечно, отобрать их до выхода их в свет, но, в таком случае, оно обязано бы было по закону начать против меня судебное преследование. Итак, если б я воспользовался моим правом, правительству предстоял бы выбор между двумя путями: ничем не ограничивать свободного обращения моей книги, или отдать меня под суд. Третьего исхода, а именно: чтоб можно было отобрать издание и не обращать дела к судебному рассмотрению, иными словами: отнять у меня мою собственность и отказать мне в праве судебной защиты – я не смею и предполагать, ибо, поступив таким образом, само правительство не только бы обошло, а прямо бы нарушило закон. Но на суде я, разумеется, был бы вынужден привести все то, что могло бы послужить к моей защите, а затем, суд мог бы приговорить, мог бы также и оправдать меня. Если бы последовало осуждение, то неизвестно еще, подчинилось ли бы такому решению общественное мнение, не всегда мирящееся с неумолимою юридическою строгостью суда, и очень может быть, что я прослыл бы мучеником. В случае же оправдания, я вышел бы победителем из печального столкновения с одним из правительственных ведомств. Если бы целью моего издания было удовлетворить чувству суетного тщеславия или произвести в обществе соблазн, я предпочел бы тот или другой исход всякому иному. Но у меня была другая цель, и я добровольно отказался от самого сподручного мне способа обнародования моей книги в пределах России для того именно, чтобы не ставить правительства в необходимость явно одобрить мою книгу или прибегнуть

к мере крайней строгости, подлежавшей по закону судебной оценке. Перчатку, брошенную России и ее правительству из-за границы, я поднял за границую. Там завязался между мною и моими противниками своего рода поединок; он происходит за пределами Империи, вне круга действий наших законов, и потому правительство даже и знать об нем не обязано. Его свобода ничем не связана. Не нарушая никаких законов, им же изданных, не выражая гласно ни одобрения, ни осуждения, оно может поступить с моим изданием как со всеми другими за границую выходящими книгами: пропустить их в Россию, или запретить их безусловно, или дозволить обращение их в ограниченном кругу читателей. Таково было главное побуждение, заставившее меня обратиться к заграничной печати; излагать его перед публикою я счел неприличным, но и скрывать его не имею причины.

Другое обвинение менее определительно и потому гораздо для меня опаснее. В прочтенной мне бумаге значится, что, порицая некоторые действия главных местных начальников Прибалтийского края, я подрывал доверие к правительству и тем самым косвенно касался самого авторитета Верховной Власти. Я повторяю лишь смысл обвинения, которое было мне прочтено, и, не имея перед глазами подлинных выражений, не ручаюсь за точную их передачу.

Вся книга моя, от первой строки до последней, посвящена защите государственных интересов России против неумеренных и постоянно возрастающих притязаний Остзейского провинциализма. Такая защита, сколь бы она ни была слаба и недостаточна, может ли быть сочтена вредною с точки зрения правительства, оберегающего те же интересы?

Чего хотело оно всегда и чего хочет теперь? Оно хотело и хочет, чтобы издаваемые им законы имели в Прибалтийском крае такую же обязательную силу, как и в других областях Империи; чтобы господствующая церковь стояла на подобающей ей высоте и не нуждалась, по крайней мере, в вещественных условиях своего существования; чтобы хозяйственное благосостояние крестьян обеспечено было твердо и

независимо от произвола или односторонних расчетов землевладельцев; наконец, чтоб русский государственный язык постепенно вводился в делопроизводство, хотя бы одних коронных инстанций. Эти намерения и цели так часто заявляемы были Верховною Властью, что я не мог не признать их за коренные начала, которыми местная администрация обязана руководствоваться. Ни одного из них я не порицал и не оспаривал. Напротив, я отстаивал их необходимость, законность и справедливость против ожесточенных нападок Остзейских корреспондентов заграничных газет. Так понята была моя книга всеми, и общее ее направление было в этом отношении столь недвусмысленно, что в Германии меня печатно заподозревали в том, что я пишу за деньги, по заказу правительства. Там я прослыл продажным пером, а дома подвергаюсь обвинению в политической злонамеренности. От заграничного обвинения я не ищу защиты, но да позволено мне будет сказать, что я не заслужил и домашнего.

Отдав себе отчет в целях высшего правительства, я обратился к практике и увидал следующее: Свод Законов общих и местных для губерний Остзейских теряет в том крае присвоенный ему авторитет и постепенно вытесняется ссылками на международные договоры; новообращенные в православие просят вон из церкви, не находя в ней удовлетворения самым простым и настоятельным духовным своим потребностям; брожение в крестьянском сословии не прекращается и вызывает периодически карательные меры; безземельные батраки и обезземеленные хозяева, целыми толпами, снаряжаются куда-нибудь подальше от своей родины; введение русского языка не подвигается. Отрицать этого нельзя, и никто до сих пор даже не пытался серьезно опровергнуть мои показания. Такое бросающееся в глаза противоречие между действительностью и волею правительства естественно не может укрыться от общества. Известия из Прибалтийского края, даже помимо газет, проникают к нам бесчисленными путями и разносятся во все стороны. Вопрос о причинах указанного противоречия ставится сам собою, а объяснить его можно только двояким обра-

зом: предположить, что сама Верховная Власть, говоря России одно, для усыпления патриотического чувства, в то же время, под рукою, позволяет противное в Прибалтийских губерниях, иными словами: обвинить ее в шаткости и в двуличности; или: сознаться чистосердечно в недостаточности действующих узаконений и в слабости административных мер. Середины тут быть не может. Когда практика так явно расходится с намерениями Верховной Власти, нет иного средства спасти достоинство последней, как подвергнуть правдивой критике действия ее уполномоченных. Такова была моя задача; я взялся за нее по убеждению и смею считать ее безупречною.

Но если в ней-то и заключается моя вина, то где предел дозволенного и воспрещенного? Полагает ли кто-нибудь возможным прославлять на одной странице, хоть бы, например, намерение правительства основать прочный, оседлый быт крестьян, а на другой радоваться тому, что меры для достижения этой цели, подсказанные местными Ландтагами, поколебали историческую связь крестьян с землею? Но ведь и здравый смысл имеет свои права, которых безнаказанно нарушать нельзя. За такого рода задачи честные перья не берутся, а статьи, написанные по заказу, никого не убеждают; у нас, публика, читая их, пожимает плечами, а за границую над ними смеются.

Или, может быть, от русского общества не ожидается ни одобрения, ни сочувствия, зато не принимается и критики, а требуется только, чтоб оно молчало и перестало интересоваться положением дел на наших окраинах?

Государь! Если бы в России мог прекратиться запрос на Ваши изображения, если б мы перестали всматриваться в Ваши черты, вслушиваться в Ваши слова, вдумываться в Ваши мысли, ловить с жадностью известия обо всем до Вас касающемся, словом, интересоваться Вами, это значило бы, что совершилось невозможное и что мы перестали Вас любить.

Если бы когда-нибудь русское общество повернулось спиною к Прибалтийскому краю, махнуло рукою на Польшу, забыло про Кавказ и Финляндию, отучилось вообще интересоваться своими окраинами, это бы значило, что оно разлюбило

Россию как целое. Тот день был бы началом ее разложения. В тот день возрадовались бы представители всех враждебных ей партий и народностей; Мирославский и Шедо-Фероттп, Герцен и фон-Бокк забыли бы на время свои разномыслия; они сбежались бы со всех концов Европы на братский пир и отпраздновали бы вместе канун политического крушения Империи.

Не к этому ли, очень еще недавно, вели наши враги в Варшаве и не с этого ли пути повернула нас твердая десница Ваша, когда, в виду угрожавшей нам Европы, Наше Величество не усомнились опереться на общественное мнение, в то время гласно и безбоязненно выражавшееся.

Может быть, есть люди считающие возможным в мирное время проповедовать обществу безмолвие, бессмыслие и безучастие, даже требовать от него этих добродетелей как верноподданнического долга, а в минуты опасности, вызывать общественные восторги и общественные пожертвования; но осмелится ли кто-нибудь оскорбить русское правительство предположением, что оно могло бы когда-нибудь усвоить себе подобную систему?

Говорят: да как же допустить общественный ропот? Государь! Если бы после Тильзитского мира вся Россия не возропала, или, если бы тогдашние советники Верховной Власти обдали струею холодного недоверия этот ропот, несомненно несправедливый, но в котором выражалось не иное что как искреннее чувство народной чести, кто знает: поднялась ли бы вслед за тем та грозная волна народного одушевления, которая пронесла на себе через всю Европу в Бозе почившего Императора Александра I при громких кликах освобожденных им племен и улеглась у ног его не прежде как опустив его в столице Франции на Аустерлицком мосту.

Мне объявлено, что я провинился против Величества. В этом самое острое обвинения. Всемилостивейший Государь! Склоните снисходительный слух к чистосердечной исповеди верноподданного, просящего не милости, а правды.

Светская власть, во всей ее полноте и во всех ее видах, сосредоточивается у нас в руках Самодержца и от него ис-

ходит; по это не значить, чтоб степень личного его участия была одинакова во всех действиях правительства по части законодательства, суда и управления. Закон, пока он не отменен, должен быть исполняем безоговорочно, кем бы он ни был задуман и каков бы ни был сам по себе; перед судебным решением вошедшим в законную силу, хотя бы и несправедливым по существу, сопротивление не мыслимо; равномерно и администрация имеет право требовать безусловного себе повиновения, пока она действует в пределах закона, и каковы бы ни были ее действия – мы все это знаем, чтим и соблюдаем. Но следует ли отсюда, чтобы каждый параграф каждого Высочайше утвержденного Положения, непременно выливался из под самого сердца Монарха, или чтоб мы должны были, видеть мановения Державной десницы во всех, подчас неразборчивых приемах административной руки, хотя бы уполномоченной свыше? Я не задаю себе вопроса: есть ли какая-нибудь возможность этому верить, а спрашиваю только: позволительно ли желать, чтобы Россия этому уверовала? Если бы, в сознании всех подданных Империи, просвещенных и темных, образ Верховной Власти не отличался более или менее отчетливо от представления их о правительстве, самодержавная форма правления была бы не мыслима; ибо никогда никакое правительство не вознеслось бы на ту высоту, на которой стоит в наших понятиях Верховная Власть, и напротив, эта власть, ниспав на степень правительства, утратила бы немедленно благотворное обаяние своей нравственной силы.

Русский Самодержец ничем не связан в своих действиях и безответствен перед своими подданными – это значит, что нет в России другой, равносильной ему власти, облеченной в видимый образ народного представительства; но, независимо от ответственности, основанной на статье конституционного учреждения, существует в мире **ответственность нравственная**, от которой никакая власть на земле уклониться не может. Этой-то в точности неопределимой, но, несомненно, действительной ответственности, не вынесло бы на плечах своих и

русское Самодержавие, если бы все то, что ежечасно говорится от имени его и по уполномочию от него на всем необъятном протяжении Империи, приписывалось непосредственно Верховной Власти и принималось за безошибочное выражение ее воли и ее желаний.

Оттого, при Самодержавном правлении нашу историю созданном, правдивая оценка правительственных действий, а, следовательно, и добросовестная их критика, даже выражение ропота, ими подчас возбуждаемого и очень нередко несправедливая, не только не противоречит верно понятым пользам власти, но положительно ими требуются. Ибо, чем свободнее обсуживаются законодательные и административные меры, чем безбоязненнее заявляются злоупотребления, ошибки и упущения, более неизбежные у нас, чем где-либо, тем менее остается в руках злонамеренности благовидных поводов простирает обвинения до престола. Допуская добросовестную критику, сама Верховная Власть заявляет не только словом, но делом, что нет ее одобрения на действия, хотя бы и прикрытый ее именем, но противные правде и несогласные с общою пользою. Не оспариваю, что тем самым Верховная Власть отрекается от притязания на безошибочность, но кто же из русских Самодержцев считал себя безошибочным? – Такого притязания были чужды и сам Петр I и в Бозе почивший родитель Вашего Императорского Величества, как ни уверены были оба эти Монарха в своем несомненном праве самовластною десницею направлять родной корабль и ставить свое личное убеждение превыше толков и колебаний толпы. Такова, мне кажется, теория здравого политического консерватизма, выразившаяся во всей нашей истории и притом единственно возможная в настоящее время.

Но есть и другая теория, именно та, которой выводы теперь против меня обращаются. Она не терпит русского исторического воззрения, всегда отличавшего слугу от Государя и действия слуги от Державной воли; она сливает образ безответственного Самодержца с преходящею и изменчивою толпою временных правителей и тем самым, конечно, бес-

сознательно, затемняет в понятиях общества светлое олицетворение Верховной Власти.

Мне было сказано: вы позволяете себе критиковать законы, но они выражение Высочайшей воли; вы дерзаете осуждать действия областных начальников, но они облечены Монаршим доверием, они назначены самим Государем, приводят в исполнение Им начертанные инструкции, следовательно, вы оскорбляете Величество.

Таков смысл прочтенной мне бумаги; но верно ли в ней выражена мысль Вашего Императорского Величества? Государь, простите запавшее мне в душу сомнение.

Я не спрашиваю: строго ли последовательно проводится это учение и беспристрастно ли оно применяется ко всем законам и государственным деятелям. Я не стану доказывать, что, например, далеко не так ревниво охраняются от прикосновения критики, по-видимому, никого не оскорбляющей, Положения о крестьянах, о земских учреждениях и о судебной реформе; не стану напоминать, что Монаршее доверие, которым в свое время пользовался покойный граф Ростовцев, конечно, не в меньшей степени, чем другие, не защитило его, однако, не только от близорукой критики, но и от беспощадных нареканий; для моей цели достаточно показать, к каким неизбежным выводам изложенное учение привело бы, если б оно укоренилось, мыслящую часть русского общества. Все знают, что в Северо- и Юго-Западном краях, несмотря на усердие и несомненную благонамеренность генерал-губернаторов, стоявших в их главе несколько лет тому назад, крестьяне при введении Положения 19-го февраля 1861 года были обмануты и что уставные грамоты служили в руках польской шляхты средством раздражать народ против России. Скрывать этого нельзя, ибо известно, что когда правда обнаружилась, правительство было вынуждено начать дело сызнова, отменив прежде всего действия, уже облеченные в законную форму. Но если мы не в праве предполагать и говорить, что в этом случае, местные администраторы не в точности исполнили благие намерения

Верховной Власти, если мы должны считать их действия безупречными на том основании, что они пользовались Высочайшим доверием и были снабжены Высочайше утвержденными инструкциями, то этим самым не навязывается ли нашему сознанию то совершенно неотразимое заключение, будто бы все происходившее в то время, к явному вреду России, в Вильне и в Киеве, совершалось с ведома, одобрения и по указаниям Верховной Власти, никогда и ни в чем не погрешающей? Если мы не в праве сказать, не должны сметь и думать, что, облакая еще большим доверием маркиза Вельепольского, Ваше Императорское Величество заодно со всею Россиею, одобрявшею это назначение, ошибались в понятиях Ваших о настроении поляков; если высшее правительство в то время наперед уже знало, что удаление из края русских чиновников, учреждение Государственного, Уездных и Городских Советов и другие меры, принятые под влиянием тех же понятий и надежд, облегчат организацию мятежа и послужат ему орудием, то этим самым не высказывается ли... я не хочу и договаривать логически неизбежных последствий того учения, во имя которого пало на меня осуждение.

Ничего нет удобнее для лиц, стоящих во главе областей, как испрашивать себе Высочайших повелений во всех тех случаях, когда, при стечении обстоятельств, более или менее сложных, предвидится возможность ошибки. Вполне естественно такое желание умалить личную свою ответственность, прикрывшись перед Россиею нравственною ответственностью Самодержца; таким образом, местный администратор сам себя низводит на степень безгласного или невольного орудия Высочайшей воли, оставляя за собою право впоследствии судить о собственных своих действиях, даже, как это иногда случается, осуждать их, как бы действия постороннего лица. Все это понятно; но кто же разумнее служит пользам самой власти: тот ли, кто прямодушно указывает на упущения ее уполномоченных, или те, которые, ставя свои ошибки и послабления под защиту Высочайшего имени, тем самым раздвигают нравственную ответственность Верховной Власти перед современ-

ностью и потомством далеко за пределы прозорливости и деятельности физически возможных для одного лица?

Судить о достоинстве моей книги – не мое дело, но да позволено мне будет указать на ближайшие последствия ее появления. Едва ли нужно доказывать, что призрак племенной вражды между Русскими и Немцами не мною вызван и что не я за него отвечаю. Он появился в газетном мире задолго до того времени, когда я взялся за перо. Постоянные безыменные корреспонденции из Прибалтийского края издавна возбуждали против нас общегерманский патриотизм, подогревая его сказаниями о мнимых насилиях, будто бы совершаемых или подготовляемых правительством в угоду московскому фанатизму. Года два тому назад, некий фон-Бокк занял видное место во главе этой организованной клеветы и обратил на себя сочувственное внимание заграничной публики обманчивою точностью своих доносов на Россию. Известные ученые и журналисты приняли его под свое покровительство; он сделался в глазах Германии своего рода Лифляндским Оконелем. Обо всем этом уроженцы Прибалтийского края не могли не знать, но они упорно молчали. Ни один голос оттуда не раздался в обличение самозванца, никто не отрекся от выходца, никто не захотел разбить его авторитета перед немецкою публикою. Только на выходе моей книги, как будто одумались издатели местных газет, а за ними и все дворянское общество; наконец, даже общий тон Остзейских корреспондентов заграничных газет стал изменяться, переходя постепенно из враждебно наступательного в враждебно оборонительный. Считать ли все это вредом или пользою?

Слухи Балтийского происхождения о мнимо варварских замыслах и приемах правительства находили, как известно, отголосок и в наших столицах. Многие из Русских легкомысленно им вторили, другие недоумевали, третьи сомневались в законности правительственных начинаний и роптали на мнимую насильственность исполнения. Могу сказать без самохвальства, что и в этом отношении книга моя осталась не без влияния на уяснение понятий. Прежде порицались не редко

самые цели правительства и направление его деятельности в Прибалтийских губерниях; теперь, в понятиях многих, цели оправданы, необходимость неуклонного к ним стремления доказана, сомнения устранены и может оставаться разве лишь только сожаление о недостатке выдержки в действиях местных исполнителей. Не успех ли это?

Может быть, ожидания и требования, ныне высказываемые по поводу моей книги в кругу читателей, принявших ее сочувственно, бывают порою не чужды некоторой не терпеливой заносчивости; но не гораздо ли во всяком случае выгоднее для правительства иметь за собою общественное мнение, согласно с ним настроенное, сочувствующее его целям, положим, даже иногда забегающее вперед, но все-таки в том же направлении, чем видеть против себя мнение враждебное всем своим начинаниям, как бы стыдящееся их, по крайней мере холодное к ним?

В первом случае, правительству приходится только сдерживать свою собственную силу и являть далеким окраинам великодушную умеренность, исходящую свыше; во втором случае, оно поневоле должно подвигаться против двойного течения, преодолевая одновременно, на окраинах, прямое сопротивление, ободряемое пассивным настроением русского общества, а у себя дома – тупое безучастие или неразумный ропот. Не трудно бы было доказать, что неосызаемая сила этого домашнего, общественного отпора не раз как бы сдерживала развитие великих предначертаний истекшего царствования, имевших целью объединение наших окраин.

Я действую одиноко, на свой страх, как частное лицо, не испрашивая ни поощрения, ни одобрения. Если я ошибаюсь, пусть опровергают меня, пускай даже бранят и поносят; правительство не отвечает за меня ни прямо, ни косвенно. Но если, при полной моей независимости и при явном совпадении личных моих убеждений с целями и видами правительства, мне удалось хоть сколько-нибудь очистить дорогу, которою оно идет, от хлама нагроможденных на ней недоразумений и напраслин, если успех моей книги доказал балтийской публике,

что русское общество считает преобразовательные начинания правительства в том крае делом народного интереса и своим собственным делом, не облегчит ли это действия местной власти и не послужит ли ей в пользу?

В первом выпуске «Окраин» исчерпан политический вопрос, щекотливейший из всех, и возвращаться к нему я не думал. Неминуемое раздражение, им вызванное, скоро утихнет – балтийские и заграничные мои противники это знают; но им особенно нужно предупредить разработку частных административных вопросов о положении крестьян, о православной церкви, о городах. Они хотели бы лишиться меня возможности доказать, что я говорил правду, и дойти до практических результатов. До сих пор, я слышал только личные на себя нападки, а возражения приберегаются для переды, в ожидании минуты, когда у меня отнято будет право отвечать. Не трудно предсказать, что последует, если их ожидания сбудутся.

Само собою разумеется, что, обезоруживая меня, подписывающего свое имя, правительство не в состоянии будет вырвать оружие из рук моих противников, то есть лишиться слова немецких публицистов не русских подданных, ни даже остзейских их сотрудников, пользующихся удобством безыменных корреспонденций. Заграничная публика примет вынужденную мою безответность за несостоятельность, и я прослышу уличенным клеветником. Конечно, это еще не заслуживает особенного внимания, тем более, что всякий пишущий обязан оберегать сам свое доброе литературное имя; но не одна моя личность принесена бы была в жертву, а потерпело бы и дело, за которое я стоял. Известие о закрытии правительством издания, посвященного обороне русских интересов в Балтийском крае, было бы принято всею Германиею за невольное признание самого правительства в неправоте его преобразовательных начинаний. Остзейская публика, конечно, восторжествовала бы и, на первых порах, не поскупилась бы на изъявления своей восторженной признательности; но такое торжество расположило бы ее не к уступчивости, а, напротив, усилило бы упорство местного провинциализ-

ма. Наконец, сколько бы ни было взведено обвинений против моей книги, никогда наша публика не усомнилась бы в том, что я стоял за государственные интересы России, и потому запрещение моего издания естественно навело бы читателей на несчастную мысль, будто бы интересы России и интересы правительства не одно и то же. Можно ли этого желать?

Прочтенная мне генерал-губернатором бумага оканчивается угрозою. Действительно, довольно распространено мнение, что чувство страха должно непременно остановить всякого, по собственному желанию служащего своей родине посильным уяснением общественных понятий. Не мое дело судить о степени основательности и о практической применимости такого мнения; но, обращаясь лично к себе, считаю себя в праве сказать, что я не заслужил подобного подозрения. На пятидесятом году жизни, решившись начать мое издание, я знал, что говорить правду об Остзейском крае не безопасно, обдумал заранее все последствия и приготовился встретить безропотно и покорно как судебное преследование, так и административный произвол. Осмелюсь повторить сказанное мною вначале: я не укрывался от ответственности; готов и теперь принять обвинение перед судом в том виде, в каком оно будет предъявлено, не уклоняясь от рассмотрения его в существе, не ссылаясь даже, для моей очистки, на несуществование закона, который бы запрещал прибегать к заграничной печати.

Всемилоостивейший Государь!

Объявленное мне Высочайшее неудовольствие не лишает меня ни личных, ни общественных прав моих; но в нравственном отношении оно для меня тяжелее всякого другого наказания. Тем не менее и как бы прискорбно мне ни было чувствовать на себе такое осуждение моих намерений и действий, я бы склонился молча перед приговором и не посмел бы, для личной моей защиты, утруждать настоящим объяснением Высочайшее Вашего Императорского Величества внимание, если бы не считал этого делом совести. Чувство нравственного долга побудило меня сделать все от меня зависящее для моего оправдания, главнейшим образом потому, что обвинение, по

моему убеждению не заслуженное, повело за собою, в настоящем случае, осуждение, павшее с высоты престола.

Этот долг верноподданного я теперь, в меру крайнего моего разумения, исполняю, повергая к стопам Вашим, Государь, чистосердечное выражение руководивших мною намерений и вместе политическую мою исповедь.

Знаю, что она легко может быть перетолкована и в таком случае обращена в тему для новых против меня обвинений; но меня успокаивает надежда, что Ваше Императорское Величество, может быть, Сами удостоите бросить на нее взгляд.

Могу сказать по совести, что в основе всех моих убеждений и действий лежит одно, искреннее желание, чтоб не расстроилось никогда между правительством и обществом то согласие и то взаимное доверие, которыми я дорожу вдвойне: как непременным условием всякого правильного преуспевания и как лучшею, отличительною славою нынешнего царствования.

Вашего Императорского Величества,
Всемилоостивейший Государь,

верноподданный
Юрий Самарин.

Москва.
23 декабря
1868 г.